

п. елкин

@mail.ru[®]
рекомендует

Письм  моих друзей

**тридцать пять
родинок**



КОНТРАКТ



П. Елкин

Тридцать пять родинок

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=590835
Тридцать пять родинок: Центрполиграф; М.; 2008
ISBN 978-5-9524-3693-0

Аннотация

Маленькие мемуары популярнейшего деятеля российской блогосферы – это мелодия одной жизни, сыгранная по нотам радости и печали, нерешительности и самоиронии, надежды и разочарования. Полные обаяния литературные опыты, несомненно, добавят в вашу жизнь яркие краски и позитивные впечатления. Автор напомнит вам о том, что «пассивное чтение все-таки очень и очень вредно». Поэтому лучше не рисковать и незамедлительно пополнить ряды активных читателей этой искренней и жизнеутверждающей книги...

Содержание

Про барак	8
Клопы	12
Про дубовое побоище	14
Про мой страх	20
Про войнушку	23
Живая рыба	29
Радиорубка	34
Про то, как я был мушкетером	41
Яблочное	47
Про то, как тесен мир	53
Конец ознакомительного фрагмента.	66

П. Елкин

Тридцать пять родинок

Я в детстве очень переживал из-за того, что у меня на лбу всегда было написано, что я подумал или сделал.

Мне так маманя говорила. «Ну-ка, не ври! – прикрикивала она сурово. – Я знаю, что это ты сломал игрушку. У тебя это на лбу написано!» И я верил, верил, как дурак, и признавался во всем, заливался горячими стыдливými слезами, бежал к зеркалу проверять – что же такое у меня написано на лбу.

А как было не верить: я с детства видел живые примеры того, как все, что внутри, отражается снаружи.

Если на яблоке есть черная точка, значит, внутри будет червяк, возьми лучше другое. Если в холодильнике вздулась банка консервов, значит, внутри уже не пахучие шпроты в вязком вкуснющем масле, а вонючая жижа, фонтаном вырывающаяся в проделанную консервным ножом дырку. Нет, вздутые банки лучше не трогать...

С людьми происходило то же самое: самые злые и противные соседки, постоянно жалующиеся мамане, что я слишком громко кричу и нарочно быстро бегаю, всегда были самые морщинистые, с противными бородавками, почему-то обязательно на носу. Маманя иногда заступалась за меня, а иногда и отвешивала незаслуженный подзатыльник. Внешне

она была серединка на половинку. Вроде красивая, но иногда проявлялись у нее жесткие морщинки на лбу и в уголках рта и делали ее чем-то похожей на злых соседских бабулек. А вот изредка возникающие у нас дома с какими-то бумагами отцовские секретарши – добрые, нежные и ласковые теньки, которые тискали меня и закармливали конфетами, – были самыми красивыми, совсем без морщинок.

Каждый вечер, умываясь на ночь, я подолгу рассматривал себя в зеркале. Уж я-то знал лучше всех прочих, что я успел натворить за день, и потому придирчиво рассматривал себя, пытаюсь вспомнить, каким я был вчера вечером, и сравнивал с тем, что видел в эту секунду, пытаюсь понять: что меняется в моем лице, на моих руках, плечах, животе, если я хулиганил? Или, что бывало редко, если я вел себя примерно?

Родинки. Меня постоянно тревожили мои родинки. Лет с трех у меня сначала на руках, потом на лице, а затем и по всему телу стали появляться мелкие черные или светло-коричневые точки. Я все никак не мог понять: отчего они, откуда берутся?

Сначала я думал, что это как пятнышки у божьей коровки – по одной родинке за каждый прожитый год.

Но когда их количество перевалило за десяток, я понял: нет, тут что-то другое. И потом – почему одни так и остаются крохотными, а другие начинают расти?

Задавать мучивший меня вопрос мамане я побоялся: а вдруг родинки – это как раз и есть те самые метки, которые я

получаю за хулиганства? И чем больше родинка, тем страшнее хулиганство, за которое я ею наказан? Не-е-ет, у мамани про такое лучше не спрашивать...

Родинок становилось все больше, переодеваться на ночь становилось все страшнее. Я представлял, что постепенно весь покроюсь этими черно-коричневыми бугорками и стану как броненосец, которого нам давали погладить в зоопарке, – пупырчатым и шершавым, или как Абаж в фильме «Королевство кривых зеркал»...

И вот перед самой школой какая-то врачиха в поликлинике наконец-то развеяла все мои страхи. Не помню, что она там во мне искала, зачем заставила стащить застегнутую наглухо рубашку с длинными не по погоде рукавами. Но, увидев мои родинки, она восхищенно присвистнула и улыбнулась: «Смотри-ка, сколько родинок, как тебя ими обсеяло! Значит, счастливым будешь!»

Помню, я тогда после осмотра даже рубашку надевать не стал, выбежал из кабинета к ждущей меня в коридоре мамане в одной майке.

– Мам, пошли домой!

– Так мы ж в кино собирались... – вспомнила маманя свое обещание, – единственное, чем она только смогла меня подкупить, чтобы я отправился в поликлинику.

– Домой, домой! – Я бежал впереди нее, радостно размахивая рубашкой, гоняя сандалиями бумажный пакет из-под молока. Дома я сразу заперся в ванной, пустил воду, чтобы

не отвлекали, и внимательно рассматривал себя в зеркале, только теперь уже не всплескивал горестно руками, а радостно выискивал новые родинки – теперь уже не притворяясь, что это какие-нибудь веснушки.

Ночью я долго лежал и пытался представить: что же это за счастье такое меня ждет? Наконец придумалось мне, что каждая родинка – это хороший человек, вроде отцовских вкусно пахнущих секретарш, которого я когда-нибудь встречу. На лице родинки – это те люди, с кем я буду целоваться. На руках – кого буду обнимать. На животе – те, кто меня угостит чем-нибудь вкусным. На ногах – с кем я буду бегать и играть. Такое вот мне подумалось уже перед самым рассветом, и я уснул спокойный и довольный.

Теперь-то я понимаю, что ошибался не очень сильно. Примерно так оно и было – каждую свою родинку я считаю каким-то одним воспоминанием из своей жизни. И даже могу кое-что рассказать про некоторые родинки, появившиеся у меня до разговора с врачихой и после.

Вот вам, например, первая история, из самых ранних.

Про барак

В нашей длинной хрущевке весь двор был заселен жителями одного барака, когда-то стоявшего в том месте, где сейчас построили кинотеатр «Байкал».

Переехали мы в новый дом, когда мне было года три, поэтому о барачной жизни у меня остались только отрывочные воспоминания; наверное, самые яркие – вот, например, меня купают на широком столе в огромном цинковом корыте. Или вот я, к примеру, с трудом раскатываю по огромному коридору на деревянной тележке с четырьмя подшипниками вместо колес. Тележка не моя, я выпросил ее покататься у кого-то из больших ребят, и у меня все никак не получается проехать так же лихо, как это делают они. Главная хитрость – разбежаться и ловко напрыгнуть животом на тележку, вот это у меня как раз и не выходит... Бежать с тележкой я пока еще не могу, она слишком велика для меня, поэтому я просто оставляю ее посреди коридора, отхожу назад и старательно разбегаюсь. Добежав до тележки, я что есть силы плюхаюсь на нее животом, но то ли мой разбег не скор, то ли перед прыжком я все-таки боязливо торможу, но тележка, получив жалкое ускорение, двигается по дощатому полу всего сантиметра на три, причем непонятно, в каком направлении. Но эти три сантиметра я помню прекрасно – это сантиметры, которые я прокатился «как большой».

И еще одно вспомнилось, осеннее.

Наверное, это первая осень, которую я осознаю. Я помню, с каким удовольствием я качусь по кучам опавших листьев, как замороженно смотрю за дымом от костра, на котором эти листья жгут.

Большие ребята собирают охапками опавшие листья для того, чтобы строить шалаши. В дело идут ветки, доски, куски картона, из них устраивается навес, поверх которого ворохами стаскивают листья. Постепенно такой шалаш начинает напоминать холмик, внутри его пахнет горькой прелью, но в нем тихо и уютно, гораздо уютнее, чем на улице.

...Той осенью построили мы Царь-шалаш. Повезло нам необыкновенно – на какой-то дальней помойке кто-то из совсем больших ребят заметил почти новую кровать. Настоящую деревянную кровать с матрасом!

Я помню эту экспедицию дворов за десять – помню потому, что меня никак не хотели брать с собой, мал еще, а там, может, придется драться с местными!

Когда меня все-таки взяли с собой, просто потому, что никого из наших мальчишек во всем дворе больше не осталось, я был ужасно доволен.

Толпа пацанов, чуть ли не двадцать человек, с опаской пробиралась по незнакомому району, выискивая то место, где какой-то сумасшедший выбросил целое сокровище. Мы даже не надеялись, что настоящая кровать долежит до нашей экспедиции, мы были уверены, что местные мальчиш-

ки немедленно заберут добычу себе. Помню, как мы нашли эту помойку, как радовались тому, что кровать еще на месте, как придирчиво осматривали, потом всем скопом тащили это огромное чудище до нашего двора, то и дело останавливаясь передохнуть и валяясь прямо на ней, на нашей настоящей кровати!

Потом мы строили шалаш таких размеров, чтобы в него могла поместиться «мебель»... Даже со спиленными ножками кровать была просто огромной. Мы воровали в районе все доски, даже те, которые предусмотрительные взрослые прокладывали как тропинки через непролазные грязи. Мы перетаскали из своих комнат все старые газеты и тряпки. Мы собирали опавшие листья отовсюду, даже кое-где трясли молодые деревья, чтобы побыстрее слетала листва. Те, кому надо было в школу во вторую смену, не ушли, решили прогулять занятия – они только сбегали домой переодеться и взять сумки, а потом вернулись и продолжили трудиться бок о бок с нами. Чуть позже присоединились к нам и ребята, вернувшиеся с уроков.

И вот наконец к вечеру, после целого дня горячечной, одержимой работы, наш Царь-шалаш был готов. Уже в темноте мы всей кучей забились внутрь и, счастливые, валялись на кровати, предвкушая, во что мы завтра сможем играть. Домой нас смогли загнать только отчаянные крики и угрозы родителей.

А ночью пришла беда.

Непонятно почему в разных комнатах, выходящих в огромный коридор, то и дело зажигался свет, слышалась страшная ругань, потом дверь тихонько приоткрывалась, в коридор боязливо выглядывал кто-то из соседей, а дальше криков уже не было слышно, только злое шипение. Свет в комнатах больше не гасили. Только когда какая-то бабулька, у которой чувство долга перед соседями побороло чувство стыда, начала стучаться по дверям со словами «Я вижу, вы все равно не спите...», все стало понятно.

Клопы

Естественно, выбрасывать нормальную кровать на помойку в те времена никому бы даже в голову не пришло. Нашу дорогую кровать выбросили потому, что она кишела клопами, от которых по-другому невозможно было избавиться. И вот пацаны, валяясь на этом клоповнике, притащили в одежде домой целые стада насекомых. Как только клопы оказались в родном климате, они отогрелись и ринулись в атаку на мирно сопящих жителей барака.

Поняв, что беда общая, соседи забыли про стыд и, не теряя ни секунды, взялись за дело. Вся незатейливая мебель быстро оказалась в общем коридоре, откуда-то появилось несколько паяльных ламп, и мужики в подштанниках стали методично обходить комнаты, пропаливая все щели между досок огромными языками пламени. Остальные в это время смазывали все, что можно, керосином и придирчиво рассматривали полы и потолки в поисках убегающих кровососов. На общей кухне все женщины, раздевшись и раздев детей, свалили одежду в огромные чаны и водрузили их на нагревающую плиту. Пытающихся скрыться от жара насекомых торжественно давили...

После того как все комнаты барака были обследованы, а одежда прогрета и пересмотрена, соседи начали осторожно заносить мебель из коридоров в комнаты.

И вдруг кто-то тревожно вскрикнул: «Смотрите!!»

Соседи, уже который час сосредоточенно разглядывающие щели в мебели и швы в одежде, словно проснулись и бросились к окнам. Во дворе, щедро политый керосином, занимался огнем Царь-шалаш.

Про дубовое побоище

Когда мы из барака въехали в пятиэтажку, почти сразу за окнами нашего дома обнаружилась Природа. Буквально в двадцати метрах от окон еще стояли вековые дубы, метрах в ста под дубами прятался пруд, примерно в километре скрывалась какая-то забытая Мосгорпланом деревня, куда маманя каждый вечер отправляла меня с бидоном за парным молоком.

Каждый раз, вручая мне бидон и поправляя воротник рубашки, маманя строго-настрого наказывала: «Мимо пруда не ходи!»

И правда, мне и самому гораздо проще было обогнуть пруд дальней тропой за километр, чем идти через это запретное место. В нашем дворе ребята про пруд рассказывали страшное: будто там играют в карты на живых людей и режут насмерть тех, кого проиграли, что там раздевают и топят заблудившихся прохожих, держат в землянках собак, откармливают их человеческим мясом.

Конечно, на самом деле все было совсем не так.

Просто на берегу пруда окрестные мужики сколотили несколько столиков и там, как говорится, под сенью дубов, с ранней весны, как только пробивались на деревьях первые листочки, и до поздней осени, пока листва не опадала, предавались нехитрым мужским забавам. В основном, конечно,

играли в домино. Частенько перекидывались в карты, однако, поскольку многие из стариков еще помнили зоновские уроки игры в секу, эти игры почти всегда заканчивались драками. Ну и изредка кто-то выносил на столы гремящую деревянную доску с шахматами, но это если только на спор...

Во что бы ни садились играть мужики, проигравший всегда бежал за водкой.

Меня до сих пор занимает вопрос: откуда вообще взялась эта общеизвестная российская формула «бутылка на троих»?

По деньгам? Стоимость поллитры никогда особенно ровно не раскладывалась, да и всегда нужно хоть что-то накинуть сверху, хоть на четвертушку ржаного хлеба, хоть на пресловутую карамельку.

По количеству? Да полно! Сто шестьдесят шесть граммов на одно лицо – это как раз то, что называется «ни в голове, ни в жопе». То есть чисто для аппетита – это многовато, а чтобы ударило по башке – явно недостаточно.

Лично мне кажется, что число «три» появилось просто потому, что мужики не особенно склонны доверять разливающему. Если делить бутылку на двоих, разливающий обманет обязательно. А если делить на троих, два свидетеля против одного банкующего – это хоть какая-то гарантия объективности. Но повторяю: это лично мое мнение.

Ну так вот, во что бы мужики ни играли на пруду, водка там была всегда. Потому что одно дело – просто купить, тут

еще прикинешь, хватит ли на семью и на еду до зарплаты. А проигранное – это ж свято; как говорится, карточный долг – долг чести, тут во внимание не принимаются ни пустой холодильник, ни порванные ботинки сына, ни дочкино платье, из которого она давно выросла. Короче, семейные бюджеты трещали по швам, и неудивительно, что очень скоро среди женщин и детей у «пруда» сложилась очень нехорошая репутация. И самое обидное для всех страдальцев было то, что вертеп гнезвился прямо тут, под боком, так что обвинять мужиков в том, что они пропадают неизвестно где, было невозможно, вот же они – только крикни из окна: «Коля-я-я!» – и услышишь ответ: «Да, я тут!» – «Что ты там делаешь?» – «Просто сижу с ребятами!» – и что ему скажешь? Иди домой? Да у нас даже самые мелкие пацаны не велись на этот призывный материнский крик. Много раз темными ночами, когда наигравшиеся и упившиеся мужики сладко спали, жены с пилами и лопатами выбирались на пруд и под самый корень спиливали столы и скамейки. Но гнездо выкорчевать не получалось: слишком много строек было вокруг, разжиться досками и бревнами для мужиков было нетрудно, буквально на следующий после теракта день на берегу вырастали новые столы и новые скамейки.

И вот как-то раз в летнюю субботу случилось великое противостояние, после которого сцены Ледового побоища из фильма «Александр Невский» я смотрю уже по-другому.

Около девяти утра почти все женщины нашего дома с

невесь где раздобытыми топорами, пилами и лопатами высыпали из подъездов и направились в обход дома к пруду. Мужики, дожевывая на ходу завтраки и натягивая майки, бежали за ними следом. Кто-то из них пытался вытащить своих жен из женской толпы, кто-то кричал вслед обидное, но женщины, не обращая внимания ни на что, угрюмо маршировали. Мужики, решив, что глупые тетki опять поносят столы и успокоятся, быстро расслабились и шли за женами и тещами плотной кучкой, уже заранее прикидывая, где раздобыть новые доски. Следом за родителями потянулись дети – посмотреть, что будет дальше, ну и хотя бы в первый раз в жизни увидеть тот «пруд», к которому они столько времени боялись приближаться.

Дойдя до пруда, женщины не стали даже обращать внимания на столы и скамейки, а словно муравьи облепили дубы и сосредоточенно стали молотить по стволам топорами.

Мужики поняли, что ситуация разворачивается не так, как они предполагали, и начали оттаскивать жен, вырывать у них топоры из рук.

Все бы еще можно было как-то уладить, однако в бой вступили бабульки, которые сами рубить и пилить уже не очень могли, но на пруд пришли как раз для того, чтобы морально поддержать дочерей и невесток. Затрещало первое порванное платье, послышался первый истошный женский всхлип: «Ох, господи, что же это...» – и страшный мужской крик: «Убью-ю-ю-ю!»

А дальше началась бойня. У женщин в руках были топоры и лопаты, но и у мужиков нашлось оружие – две авоськи несданных водочных бутылок со вчерашнего вечера.

Мы, сопливые мальчишки, как зачарованные стояли поодаль, наблюдая за схваткой. Ребята постарше бегали вокруг, но в драку не лезли, наверное, никто из них так и не смог решить – на чьей стороне биться. Но девчонки, девчонки, с которыми мы еще вчера скакали в классики и зарывали в землю «секреты», все они принимали участие в драке. Носились между взрослыми, цеплялись за ноги мужикам, висли у них на руках, прыгали сзади на шею.

Я думаю, именно из-за того, что в драку влезли девчонки, дело кончилось без смертоубийства.

Как-то постепенно то одного, то другого мужика удавалось вытащить из драки, а там уже на нем висли и мальчишки, не пускали его снова в кучу-малу. Когда в свалке осталось всего несколько самых разъяренных мужиков, их удалось повалить, и, как они ни отбивались, бабульки плотно прижали их к земле.

Женщины снова стали рубить стволы. Со всклокоченными волосами, в изорванных халатах, через которые светились трусы и лифчики, женщины не стыдились своей полунаготы или неприличных причесок; утирая сочащуюся кровь вперемешку с потом, они угрюмо и методично долбили по дубам, пока один из мужиков, стряхнув с себя цепляющихся детей, не подошел к своей жене: «Давай я порублю. Иди

переоденься, а?»

Потом уже рубили и пилили все вместе – кроме бабулек и тех отчаянных драчунов, на которых они торжествующе сидели. Обедать никто не ходил – даже сопливые дети не вспоминали про еду, а как заведенные собирали сучья и складывали их в костры. Совсем мелких забрали к себе на обед мамашки с грудничками, с утра благоразумно отсиживавшиеся по домам, но теперь выбравшиеся к народу.

К вечеру вокруг пруда уже была широкая поляна, вся в пнях, посреди этой поляны сиротливо торчали столы с лавками. Когда стемнело, на эти столы вывалили собранную по всем квартирам закуску и выпивку и при свете костров пили уже вообще все – и женщины, и мужики, даже самым маленьким детям наливали по глоточку пива или домашнего вина. Это было великое замирение нашего двора.

После этого дня никто из мужиков не ходил к пруду. Во-первых, теперь столы были на виду у всего дома и при появлении бутылки сразу из нескольких окон раздавался крик: «А ну-ка, ну-ка, что это там у вас?!» А во-вторых, наверное, мужикам стыдно было вспоминать про то побоище.

Я для себя навсегда запомнил: женщины будут терпеть от своих мужиков любую дурь. Терпеть долго. Но когда терпение кончается – их ничем не остановишь.

Пусть так и будет.

Про мой страх

В детстве меня тревожили мохнатые существа.

То есть не волосатые, не лохматые, а именно мохнатые – такие существа, у которых короткие волоски идут ровным покровом.

Волосатые и лохматые зверьки не пугали, как-то подсознательно чувствовалось: если к ним прикоснуться, почувствуешь шелковистую мягкость волосков.

А вот мохнатые... Я уж не говорю про мышей и гусениц, даже ночные мотыльки, даже просто бабочки с мохнатыми тельцами – при одном взгляде на них подушечки пальцев начинало неприятно покалывать. Я прямо чувствовал, что эти коротенькие волоски таят в себе какую-то страшную опасность, эти на вид гладкие, а на самом деле состоящие из острых волосков поверхности в моем воображении сочлились какими-то неведомыми ядами. Казалось – вот тронь их, а потом будешь весь чесаться, словно от тысяч комариных укусов или крапивных ожогов.

Когда на занятия по аппликации в детский сад мне купили дорожку бархатную цветную бумагу, я с благоговейным ужасом рассматривал ее мохнатую поверхность и долго потом оглядывался на тех, кто на занятии смело выхватывал из моей стопки листы, гладил их, а потом уверенно засовывал обратно. Я все оглядывался и ждал, когда они начнут кор-

читься от боли. Мне казалось, в этих листах заключена была та же сила, что и в горчичниках – такие коварные штуки, которые сначала на ощупь холодные и даже ледяные, а потом начинают нестерпимо жечь, так что на теле остаются страшные красные пятна...

Представьте мой ужас, когда на одном из детсадовских утренников, где я, как обычно, исполнял какую-то главную роль, для пущей торжественности воспитатели нацепили мне на шею галстук-бабочку. Из бархата.

То есть у меня, как и всегда, был какой-то тряпачный галстушок на резинке, но почему-то именно на этот раз воспитателям его показалось мало, у кого-то из старших групп они отняли бабочку, естественно тоже на резинке, и нацепили мне.

Вы представить себе не можете, как мне было страшно. Каждый раз, когда я открывал рот, я чувствовал на коже жар, потому что в каких-то миллиметрах от моего подбородка засел не то шмель огромных размеров, не то страшнющий паук, выжидающий малейшей возможности впиться мне в горло или запрыгнуть в открытый рот.

Я уже плохо помнил свою роль, мне было не до аплодисментов детей, не до вспышек фотоаппаратов. Задрав подбородок вверх, я, словно робот, боясь сделать лишнее движение, переступал по сцене, бережно перенося себя из угла в угол.

И вот, когда, всхлипывая от облегчения, что спектакль на-

конец закончился, не глядя под ноги, на ощупь, я спустился со сцены и отправился поскорее к аплодирующим родителям, чтобы попросить их побыстрее снять с моей шеи этот ужас, до которого я сам боялся даже дотронуться, я почувствовал, как отцовская ладонь крепко берет меня за затылок и наклоняет голову вниз.

Я уже не мог сказать ничего, даже рот открыть, но сопротивлялся изо всех сил, пытаюсь вывернуться из-под неумолимой руки. Но отец, естественно, все-таки пригнул мою голову вперед, пригнул так, что у меня не только подбородок весь ушел в бархатную бабочку, но и хрустнула шея.

– Ты, конечно, звезда и все такое... – пригнув меня, сказал отец удовлетворенно. – Но так задирать нос – стыдно. Гордость свою демонстрировать – просто некрасиво, запомни, сынок.

Я запомнил.

Про войнушку

Было мне тогда пять с половиной лет, рос я нормальным детсадовцем, и тема войнушки меня интересовала, как и всякого парня.

Не было игр популярнее, чем «в войну».

Каждый день, когда после завтрака мы с группой выходили в детсадовский двор, кто-нибудь из ребят обнимался за плечи и начинал расхаживать по двору кругами, громко скандируя: «Кто-будет-играть? В-пять-часов-не-принимать!» Услышав такой призывный ор, каждый, кто хотел присоединиться к компании, подходил, спрашивал, что за игра устраивается, и, если ему хотелось участвовать в ней, тоже вставал в ряд, обнимал соседей за плечи и начинал расхаживать с ними, выкрикивая замануху.

Так вот, игра в войну затевалась всегда. И если одновременно с ней пытались затеять какую-нибудь другую игру, типа салок или жмурок, разница в интересах была сразу заметна – за войнушку немедленно выстраивались как минимум человек восемь, и они легко перекрикивали слабо пищавшую парочку желающих поиграть в прятки. А и как могло быть иначе? Кто вообще предлагал играть в другие игры? Те несчастные, кому в наших войнах всегда доставалось быть немцами, да те, кого родители сдуру нарядили в сад во что-то новое из одежды и сурово предупредили: «Порвешь

– убьем!»

Я всегда оказывался среди немцев.

Потому что у меня никогда не было правильного оружия.

Блин, все магазины были завалены всяческими благородными наганами, чудесными ТТ и изумительными грохочущими ППШ. Но мне родители покупали всякую ерунду.

Когда отец, возвращаясь из-за границы, привозил мне какой-то дурацкий бластер, моргающий красными огоньками и кричащий что-то типа «Улю-лю!», или на день рождения торжественно вручал красно-зеленую пластмассовую дуру, плюющуюся шариками для настольного тенниса, я угрюмо сглатывал слезу и забрасывал эту дрянь в угол. А потом в магазине, куда мы заходили за бумагой для аппликации, я тянул маманю за рукав к витрине, где за тридцать копеек красовался щелкающий бойком пластмассовый наган, а «за целых восемьдесят копеек» возлежал железный ТТ, маманя отмахивалась от меня, мол, нефиг на всякую ерунду деньги тратить, все равно ты ими играть не будешь. Как я мог объяснить этим бестолковым взрослым, что «за наших» невозможно воевать с бластером. А с пистолетом, выгнутом из проволоки, криво вырезанным из пенопласта или выломанным из ветки, мне до конца жизни придется прозябать в «остальных», в тех самых, которые: «Я, ты, ты, ты и ты – за наших, а остальные – за немцев!»

Да и в цветастых девчоночьих пальтишках, которые я дошивал за своей сестрой, шансов стать советским солдатом

у меня было немного. Где в кино вы видели, чтобы красноармеец ходил в женском пальто? Нет, конечно, – только жалкие фрицы напяливали всякие салопы, обматывались шальями и грели руки в муфтах. Так что, когда я со слезами отказывался надевать сеструшкино старое пальтишко, я не придурился – я просто очень хотел хоть когда-нибудь поиграть в войну «за наших».

Потому что «за наших» могли играть только самые достойные.

И всегда в конце игры побеждать положено было именно им.

Я не говорю, что у тех, кто играл «за немцев», не было звездных минут.

Если к нам играть в войнушку прибивалась какая-нибудь девчонка, она обязательно оказывалась Зоей Космодемьянской, ее полагалось брать в плен и долго пытаться, пока не спасут партизаны. Тут за немцев играть было неплохо...

Или с криками «Матка, млеко! Яйко!» налетать на какую-нибудь младшую группу и отбирать у них какие-нибудь дурацкие конфеты – тоже ничего. Малышня даже не жаловалась – немцы же, что с нас взять...

Но в конце игры, перед обедом, когда воспитательница начинала созывать всех в группу, по первому же крику: «Собираемся, все игры заканчиваем, собираемся!» – положено было принять лютую смерть. То есть, как бы ты до этого хорошо ни воевал, когда приходило время, приходилось сто-

ять и тупо смотреть в сторону, в то время как за кустами непобедимая Красная армия собиралась для последнего удара, а потом красиво падать, когда красноармейцы с криками «Бдыщ-бдыщ!» или «Дрын-дын-дын!» вылетали из засады и творили историческую справедливость.

Ужасное для мальчишки ощущение – знать, что, как бы ты ни воевал, ты все равно будешь разгромлен и победа будет за противником, потому что «Так положено!».

И потом идти в группу и слушать, как победители гордо вспоминают: «Как я его красиво – бабах! А он так и упал!»

Эх-х-х, если б не «Так положено» – я б вам бабахнул...

Мне ужасно хотелось хоть раз поиграть за непобедимую Красную армию.

Даже с моими хреновыми ТТХ на это была надежда.

Меня мог выручить какой-нибудь весомый, неперебиваемый аргумент.

Например, настоящая пилотка или тем более тельняшка. Будь ты хоть Отто Францевич Мюллер, если у тебя есть настоящая пилотка, солдатский ремень или уж на крайний случай кокарда – ты всегда, до конца жизни, будешь «нашим».

Неоспоримый аргумент – отец в армии. Даже если тебя в детский сад по понедельникам возят из Дрездена, но твой отец служит в армии, ты все равно всегда будешь «нашим» – с такими аргументами спорить бесполезно.

Но и этого у меня, конечно, не было, мне оставалось рассчитывать только на чудо.

И вот такое чудо случилось.

Прислушиваясь к разговору двух солдат в автобусе (а как не прислушиваться, солдаты же), как-то в самом конце октября я услышал, что эти два таманца – ах, как сладко в моих ушах звучало это слово – «таманец»! – приехали в Москву для репетиции парада седьмого ноября. Дальше я узнал, что перед парадом танки и бронетранспортеры, которые должны пройти колоннами по Красной площади, собираются на Садовом кольце в районе Смоленской площади.

И я понял, что мне надо делать.

Если я доберусь до неведомой мне Смоленской площади в день парада, залезу на танк, а еще лучше – скovyрну в доказательство своего подвига какой-нибудь винтик с брони, против этого не смогут устоять ни дурацкие пистолеты, ни дурацкое сеструхино пальто, быть мне с тех пор и навсегда в наших играх славным красноармейцем.

Просить родителей отвезти меня на какое-то там Садовое кольцо было бесполезно. Я заранее знал, что ничего из этого не выйдет. Поэтому я хранил свою тайну целую неделю, а в день годовщины Великого Октября в шесть утра сам встал, оделся и потихоньку ушел из дома – ловить перед парадом Таманскую дивизию.

Для тех, кто не знает Москву, объясню – дело это нелегкое. Для парня, которому нет еще и шести, – особенно.

Как это было, рассказывать не буду, но славных таманцев я все-таки нашел. И на танке посидел, и получил от како-

го-то неведомого бойца в подарок форменную пуговицу со звездой.

Домой добраться оказалось труднее. То есть по дороге «туда» я ориентировался на толпы народа с флагами, шарами и букетами. Как птица осенью, не знающая направления на юг, никогда не заблудится, если потянется вслед за другими пернатыми, пролетающими мимо, я достиг цели.

Но обратная дорога – это другое дело.

Но я смог и это.

Примерно часа в четыре дня я, сонный, уставший и голодный, но страшно счастливый, уже подходил к дому. Меня отловила тетка, приехавшая вместе со всеми прочими родственниками разыскивать меня по окрестностям.

Через час задница у меня была такого же красного революционного цвета, как и транспаранты на демонстрации, но, лежа на боку, я сладко засыпал в своей комнате под гомон собирающихся праздновать годовщину Октября в соседней комнате родственников.

Я был просто счастлив – моя битая задница была неоспоримым доказательством моего подвига, значит, уже через день я обязательно буду играть в войну «за наших».

Так я и уснул – почесывая битый зад кулаком, в котором была зажата форменная пуговица со звездой.

Живая рыба

Рыбу готовить я не очень люблю.

Нет, селедка – это, конечно, другое дело, и вобла всякая – тоже.

Я про обычную рыбу: вот не люблю ее готовить – и все тут. Потому что есть ее не люблю.

С детства.

Во времена моего детства как-то больше всякой живой рыбы продавалось. Это сейчас, куда ни посмотрю, только стерлядь в магазинах по аквариумам плавает, ну и карпы, может, какие-нибудь. А когда-то чуть ли не вся рыба в магазинах продавалась живой.

Маманя у меня верила в волшебную силу фосфора: типа ребенок должен съесть столько-то рыбы в неделю, и точка. Я ел рыбу с удовольствием, тем более что маманя придумала хитрый метод – жареную картошку она готовила только с рыбой. То есть хочешь жареной картошки – ешь с ней не сосиски, не котлеты, а именно жареную рыбу. А с такой картошкой, которую жарила моя маманя, можно было съесть что угодно.

И вот для такой жарки покупала маманя живую рыбу, брала за день до готовки, и у нас весь вечер в налитой ванне лениво колыхали хвостами какие-нибудь сомы или окуни. Потом, около полдевятого, сразу после «Спокойной ночи, ма-

лыши», я отправлялся спать, на прощание погладив рыб по скользким спинам, а когда утром просыпался, ванна уже была пуста и чисто вымыта. За едой я даже не связывал костлявый кусок на своей тарелке с той чудесной рыбиной, которая накануне плескалась в воде.

Но вот, помню, было мне лет пять, я был в магазине вместе с маманей, когда она купила какую-то огромную щуку. Огромную – килограмма на два.

Щука – это вам не сом и не окунь. При виде ее длинной пасти и хищных зубов у меня все упало в неизвестно какие пятки. Мне сразу вспомнился какой-то мультик про бобрят, щука там запросто перегрызает целые бревна из бобриной плотины и выбирается из консервной банки, разгрызая жестянку, как бумагу. Даже видеть такую рыбину в маманиных руках было страшно, но тут маманя вручила мне целлофановый пакет и сказала: «Беги домой, выпусти ее в ванну... А я пока за конфетами постою».

Я добирался до дому на деревянных ногах, прижимая к себе бьющийся в руках мокрый, пахнувший тиной целлофановый пакет. Каждую секунду я боялся, что щука сможет как-нибудь извернуться, высунуться из пакета и откусить мне что-нибудь. Ладно – палец, но мне казалось, что она могла отхватить и руку, и ногу целиком.

Поднялся по лестнице до квартиры, надолго застрял перед дверью, потому что никак не мог решиться отнять от пакета хоть одну руку, чтобы достать ключом до замочной

скважины. Я уже готов был дожидаться под дверью, пока маманя отстоит наконец очередь за своими дурацкими конфетами. Но мне все-таки повезло – сверху послышались шаги, это спускалась вниз соседка.

Соседка сняла у меня с шеи ключ, открыла дверь, и я влетел в квартиру. Нести щуку в ванную у меня и в мыслях не было: во-первых, я бы не смог дотянуться до ручки, а во-вторых, я даже не мог представить себе, что такое чудище будет сидеть у нас в ванне. Поэтому я побежал сразу на кухню, педалью открыл холодильник и аккуратно положил пакет со щукой на полку. Прикрыв дверцу, успокоенно перевел дух и пошел в ванную мыть руки. Я даже сообразил напустить в ванну воды и забросить туда промокшую и испачканную тиной рубашку, чтобы была отмазка на случай, если маманя спросит, почему я не выпустил щуку в воду, – мол, она ж мне всю рубашку перепачкала, надо ж было постирать!

Ключ в дверях я услышал минут через пятнадцать. К этому времени я, уже переодевшийся, умытый и причесанный, лежал на своей тахте и спокойно читал книжку. Поняв, что маманя дома, выбежал в коридор, забрал у нее сумки, отнес их на кухню, а потом уселся на табуретку дожидаться, пока она распакует покупки.

Так что я своими глазами видел, как маманя, держа в руках трехлитровую банку с помидорами, открыла дверцу холодильника.

За какие-то пятнадцать минут щука ухитрилась разгро-

мить весь холодильник изнутри.

Она, наверное, так скакала по полке, что уронила ее на ту, которая была под ней, а потом все полки вместе рухнули на нижнее стекло и надкололи его. К тому же щука умудрилась побить все яйца и все банки с майонезом.

Короче, когда маманя открыла дверцу, из холодильника на нее выплеснулась мешанина из супа, майонеза, меда, молока и битых яиц, в которой плавали свертки с сыром и колбасой. А сверху всего этого извивалась и разевала пасть выскочившая из пакета щука.

В общем, трехлитровая банка с помидорами выскользнула из маманиных пальцев и грохнулась об пол посреди всего этого разнообразия, добавив в натюрморт на линолеуме еще и красного цвета.

К чести своей мамани должен сказать, что она почти не кричала и вообще пришла в себя очень быстро.

А вот к ее педагогическим недоработкам следует отнести то, что она заставила меня доставать из-под холодильника занесенную туда помидорной волной щуку. И вообще, было несправедливо, что убирать кухню она заставила меня одного – ведь помидоры-то разбила она.

Кухню и холодильник я отмывал до самого вечера, маманя только пристально следила за тем, чтобы я не напоролся на битое стекло. Но эти стекляшки и дурацкая яичная скорлупа еще долго появлялись у нас на кухне в самых неожиданных местах. Самый прикол был, конечно, когда много лет

спустя наш холодильник сломался, и мы, купив на его место новый, отодвинули от стены старый и там, на плитусе, заметили несколько засохших рыбьих чешуек.

Но это было много лет спустя, когда я про ту щуку забыл напрочь.

Однако рыбу с того самого дня я уже не люблю – ни есть, ни готовить.

Радиорубка

Помню нашу школьную радиорубку.

Школа у нас была не самолетиком, как стали строить в начале шестидесятых, а какая-то старая, пятиэтажная.

Актальный зал, в который нас всех собирали для самых торжественных школьных мероприятий или для того, чтобы закрутить какой-нибудь фильм, находился на пятом этаже.

Помню, как в самый первый раз я, еще совсем мелкий первоклашка, поднялся на самый-самый пятый этаж.

Тогда для меня это было настоящее приключение.

Вообще, как мне помнится, в начале учебы мудрые учителя изо всех сил оберегали первоклассников от суровых реалий школьной действительности.

Да и понятно почему – в нашем классе всего несколько человек появились в школе, пройдя через суровое горнило детского сада, остальные ученики пришли в школу, проведя безоблачное детство под ласковым бабушкиным крылом или деликатным няниным приглядом. Запускать таких беззащитных, таких трепетных детей в школу сразу и по полной программе было просто нельзя.

Щадя неокрепшую детскую психику, мудрые школьные психологи и методисты расселили по школе учеников так, что вся начальная школа располагалась на втором этаже, изолированно от старших классов. Даже лестница на второй

этаж вела совершенно отдельная.

То есть в раздевалку на первом этаже нас за ручку привели бабушки и мамы, из раздевалки, мимо ужасного кабинета директора (должно быть, для острастки) и заманчивой пионерской комнаты (наверное, чтобы было о чем мечтать и к чему стремиться), мы через пост суровых старшеклассниц с повязками выходили на лестничный пролет, пробежали вприпрыжку тридцать ступеней и оказывались на втором этаже. Там, на дверях и в холле, тоже дежурили только девочки-старшеклассницы – наверняка на этот счет была какая-нибудь роновская методичка.

Порядок в холле второго этажа всегда царил идеальный – на переменах все классы начальной школы под присмотром своих учителей, построившись парами и взявшись за руки, выходили в холл и чинно прогуливались под звуки песни «Теперь я Чебурашка», льющейся из динамиков. Для того чтобы выйти из строя в туалет, обязательно надо было поднять на ходу руку, тогда к тебе подходила дежурная девушка с повязкой, провожала тебя до туалета, дождалась возле двери, а потом возвращала обратно в строй. Если директора школ и городские методисты после смерти все-таки попадают в райские кущи, наверное, этот рай для заслуженных педагогов должен выглядеть именно так.

И вот как-то раз, когда моя бабуля где-то задержалась, наверное в магазине, и не пришла за мной вовремя, я на выходе из школы попался двум каким-то десятиклассникам с

красными повязками на руках, и они потащили меня по общей лестнице на пятый этаж.

Помните ли вы школьные лестницы во время перемены? Этот ор, эти свалки на ступеньках? Пацанов, катающихся по перилам и заглядывающих под юбки старшеклассниц? Девчонок, пробирающихся по стенкам и с визгом отбивающихся портфелями? Пинки сбоку, подзатыльники сверху, трубочки, плюющиеся гречкой, и рогатки из резинки «венгерка», стреляющие бумажные пульки в ответ?

В общем, если я сначала еще думал вырваться от этих двоих старшеклассников, то, попав на эту дикую лестницу, я просто обалдел и перестал сопротивляться. Я понимал – если даже я сейчас смогу вырваться, все равно до первого этажа через это месиво живым мне не пробраться. Поэтому я расслабился и позволил амбалам тащить меня за воротник по ступеням.

Добравшись до входа в актовый зал, они прислонили меня к стенке и начали совещаться. И вот что я понял.

Один из них, темный и усатый, давно и безнадежно был влюблен в девчонку не то из своего, не то из другого класса, но никак не решался ей в этом признаться, а второй, длинноволосый блондин, проиграл ему в карты, в американку, одно желание. И вот Усатый потребовал у Блондина, чтобы он через радиорубку завел на всю школу во время урока любимую песню своей пассии, битловскую Michelle, типа после такого девчонка сразу поймет, кто тут настоящий мужчина и кого

надо любить.

Однако тут была проблема.

Единственный ход в радиорубку шел из кабинета физики, через лаборантскую. Пройти незаметно этим путем было совершенно нереально – в лаборантской хранились всякие хитрые физические приборы, поэтому дверь была обита толстыми листами железа и запиралась на какие-то немыслимые сейфовые ключи. Но зато из актового зала в радиорубку были вырублены два узеньких продолговатых окна, через которые школьникам иногда крутили фильмы, а дверь в актовом зале была самая обычная, деревянная.

Так вот, дождавшись, пока у учителя физики будет выходной, Усатый и Блондин смылись с урока, вскрыли дверь в актовый зал, но пролезть в радиорубку через узкие окошки не смогли, и поэтому отправились на поиски кого-нибудь помельче. Вот тут, как говорится, и получился мой выход: «Здравствуйте, а вот и я!»

Стащив с меня пальто и шапку, эти двое с трудом пропихнули меня через окошко в радиорубку, закинули мне вырезанную из журнала «Кругозор» драгоценную пластинку и, просунув внутрь руки с зеркалами, начали командовать, какие тумблеры включать и на какие кнопки нажимать.

Ну что сказать... Даже пописывая в штаны от страха, снять со стоящего на столе проигрывателя диск «Песни радостного детства» и пристроить на его место гибкую синюю пластинку «Битлз» я смог легко. Но вот дальше начались

проблемы. Эти два урода, глядя внутрь через зеркала, постоянно путали, где лево, где право, я из-за этого делал, наверное, что-то не то, ну и кончилось это как в какой-нибудь дурацкой комедии – я случайно включил микрофон, и на всю затихшую на время урока школу разнеслось что-то вроде «Ну ты, дурак криворукий, не туда крутишь... Вон ты, другую кнопку нажимай, а это в другую сторону крути!».

Услышав свои голоса, громыхающие на весь актовый зал, Усатый и Блондин сразу поняли, что спалились, сурово погрозили мне кулаками, шепотом пообещали прибить меня и немедленно сбежали, а я остался внутри.

Сидя в рубке, я не слышал, что происходит снаружи, поэтому, когда старшеклассники неожиданно исчезли, я еще какое-то время пытался сообразить, что мне делать дальше, а потом решил, что лучше тоже смыться, но когда я полез на стол, чтобы оттуда просочиться в окошко, я наступил на снятую с проигрывателя пластинку детских песен, и она с хрустом сломалась.

Тут я понял, что пропал. Я понял, что наружу через узкое окошко самому мне не выбраться, а тут еще эта пластинка...

Я уселся на пол радиорубки и горестно зарыдал, не подозревая, что мой рев транслируется во все классы, во все холлы, на все лестницы, в спортзал и в столовую. Уже через минуту в актовом зале толпились какие-то учителя и дежурные; сколько их было, я не знаю – я только видел, как через узкие окошки ко мне тянутся какие-то руки, от этого мне станови-

лось еще страшнее, и я ревел еще громче.

Уборщица, прибежавшая с ключами, чтобы спасти меня, вскрыла кабинет физики, но от лаборантской ключа у нее не было, поэтому для того, чтобы вскрыть железную дверь, прямо с урока вызвали военрука с трудовиком. Заметив, что кто-то шевелит ручку, я от страха завыл так, что казалось, громче выть уже было просто невозможно, но когда те двое снаружи попытались выбить дверь, оказалось, что можно и громче.

Короче, вспоминать все это мне очень неловко, поэтому скажу коротко: я рыдал без остановки часа три, до тех пор, пока с ключами от лаборантской в школу не прибежал вызванный из дома учитель физики. Все это время мой оглушительный рев транслировался по всей школе, печалю учителей, веселя учеников, распугивая пришедших за детьми родителей и доводя до истерики заждавшуюся меня на первом этаже бабулю.

На следующий день меня сняли с уроков, и все утро завуч с директором водили меня по старшим классам, чтобы я показал пальцем на тех, кто меня засунул в радиорубку и чьи голоса слышала вся школа перед моим сольным концертом. Я тех двоих конечно же признал сразу, но они незаметно для учителей показали мне огромные кулаки, поэтому я уверенно сказал: «Их тут нет!» – но продолжал внимательно вглядываться в сидящих за партами присмиривших старшеклассников. Только я ведь смотрел не на ребят, я рассматри-

вал девчонок – очень мне было интересно угадать, в которую из них так сильно и так безнадежно был влюблен Усатый.

Про то, как я был мушкетером

Мушкетеры мне ударили по мозгам лет в восемь.

Помню, я тогда заглотив сразу все три книги про д'Артаньяна с его друзьями и слегка подвинулся белобрысой головой.

Первой мою шизу заметила сестра. По субботам после школы она отпарывала со своей формы кружевные манжеты и воротничок, стирала их и вывешивала на батарею сушиться. И вот, когда рано утром в воскресенье она увидела, как я старательно, сопя от напряжения, пришиваю себе кружевные манжеты на рубаху с короткими рукавами, она сразу заподозрила – что-то не так.

Потом встревожилась бабушка. Еще бы не встревожиться, если внук вдруг начал увлекаться вязанием. Бабуля-то не знала, что на самом деле спицы мне были нужны для того, чтобы отрабатывать терсы, кроазе и флаконады, и начала поглядывать на меня как-то искоса.

До мамани тревога дошла, когда я наотрез отказался идти в парикмахерскую и заявил, что хочу отрастить волосы до плеч. Маманя закатила скандал, на ее крик сбежались сеструха с бабушкой, они тут же поделились с маманей своими наблюдениями, и, не выдержав новостей, маманя вечером этого же дня побежала к отцу причитать: мол, ты совсем дома не бываешь, с сыном не общаешься, а от этого парень, как

бы это поделикатнее сказать, начал путать, что к чему.

Отец сначала небрежно отмахивался от такой ерунды, мол: «Чтобы мой сын? Да никогда!» – но под напором мамани все-таки согласился в ближайшие выходные провести со мной воскресенье как-нибудь «по-мужски».

Но во-первых, на ближайшее воскресенье у отца уже были запланированы на работе дела, а во-вторых, отец никогда не увлекался ни рыбалкой, ни автомобилями, да и вообще ничем не увлекался, кроме этой самой своей работы, поэтому он просто не представлял, что такое «провести выходные по-мужски». Короче, так сложилось, что в воскресенье утром мы оказались перед дверями его министерства – отец честно собирался провести меня к себе в кабинет, чтобы там на личном примере показать, что такое «выходные по-мужски».

Однако уже перед самой проходной отец крепко призадумался. Всю дорогу, пока мы ехали в такси, я, ошалев от неожиданно привалившего счастья, непрерывно болтал, дергал его за рукав, тыкал пальцами по сторонам и постоянно задавал вопросы, так что, когда бедный мужик понял, что ему предстоит провести со мной целый день, он решил, что это, пожалуй, перебор. С проходной отец позвонил к себе в кабинет, вызвал вниз одну из своих тогдашних двух секретарш и вручил меня бедной девушке с рук на руки. «Придумаете что-нибудь, – приказал он ей, отсчитывая деньги на расходы. – В пять часов вернетесь сюда же». Девушка испуганно кивала, отец уже скрылся за огромными дубовыми

дверями.

Мы постояли в молчании минут пять, нелепая парочка – восьмилетний пацан и девчонка лет двадцати с небольшим. Девушка, наверное, лихорадочно соображала, что ей делать с таким привалившим сюрпризом, а я все никак не мог прийти в себя оттого, что отец вот так вот легко бросил меня неизвестно на кого. Наконец девушка не выдержала.

– Ну что, пошли гулять? – С деланой радостью она протянула мне руку. – Как тебя зовут?

– Маркиз де ла Брюи, – буркнул я, – к вашим услугам, сударыня, – и отвесил отрепетированный перед зеркалом церемонный поклон.

Услышав такое, бедная девушка впала в ступор минут на пять. Судя по ее глазам, ей хотелось немедленно бежать на проходную, звонить в кабинет и умолять отца, чтобы он поручил заниматься со мной кому-нибудь другому, но постепенно инстинкт самосохранения начал побеждать, и она решила попробовать еще раз.

– Как-как, говоришь, тебя зовут? – переспросила она, на всякий случай уже пряча руки за спину.

– Маркиз де ла Брюи! – Я снова отвесил поклон. – Ваша честь в надежных руках, сударыня.

– Ну-ну, – хмыкнула девушка. – Тогда пошли, маркиз...

Тут мы снова зависли на пару минут – девушка, наверное, ждала, что я, как и положено мальчишке, вприпрыжку побегу к метро или к троллейбусной остановке, но я застыл в

поклоне, уставившись на ее туфли, и лишь когда она, в отчаянии топнув ногой, повернулась и пошла по бульвару, я выпрямился и отправился следом за ней. Сначала девушка постоянно оглядывалась на ходу, проверяя, не потерялся ли я, но потом, приноровившись слышать за спиной мои шаги по опавшим листьям, успокоилась и пошла, изредка притормаживая, чтобы я не отставал.

Дойдя до троллейбусной остановки, мы остановились.

– Я предлагаю ехать в парк Горького, ты как? – присела она на корточки рядом со мной.

– Почту за честь, сударыня.

– Слушай, хватит уже. Ну не смешно, правда. Ты вообще можешь разговаривать нормально?

Я насупился, и девушка, испугавшись, что я сейчас снова отвешу поклон, вскочила на ноги и отошла на пару шагов, словно демонстрируя, что она тут совершенно ни при чем.

Когда подошел троллейбус, она попыталась посадить меня внутрь, но я уперся, подавая ей руку, и нас чуть было не прищемило закрывающейся дверью – и прищемило бы, если бы не кондукторша. Заметив со своего места, как мы топчемся на ступенях, она успела крикнуть на весь салон: «Ню-ю-юся-а-а-а! А ну, пого-о-одь!» Начавшие было съезжаться двери с металлическим лязгом раздвинулись, и только после этого девушка наконец поняла, что переупрямить меня ей не удастся.

В салон мы поднялись под общий хохот всех пассажиров.

– Ну что, кавалер, плати за свою даму. – Широко улыбаясь, кондукторша, протянула мне раскрытую ладонь.

– Почту за честь, сударыня! – Я гордо вытащил из кармана гривенник. – Не сочтите за труд подсказать, когда будет парк Горького?

– Через пять остановок. Ишь ты, и правда кавалер! – покачала головой кондукторша, вручая мне два билета и двухкопеечную монету на сдачу. – Ну ладно, кавалер, иди-ка сажай свою даму вон туда. Эй, гражданин, да вы, да-да, вам все равно на следующей выходить, уступите-ка даме место!

Под пристальными взглядами всех пассажиров, красная как свекла, моя дама на деревянных ногах дошла до места, с которого вскочил мужик с газетой. «Садитесь, пожалуйста!» – заулыбался ей навстречу мужик, обмахивая сиденье газетой. Девушка кивнула, но села только тогда, когда я, раскачиваясь от троллейбусной тряски, добрался за ней до места и предложил ей руку. «Благодарю, маркиз!» – ответила она.

Когда мужик с газетой отправился к выходу, она ладонью притянула мою голову к своим губам и шепнула мне в ухо: «Я тебе деньги в карман положила, чтобы ты расплачивался». Я еле-еле кивнул, задыхаясь от ее взрослого запаха, прикосновения ладони к моему затылку и от горячего шепота: «Меня Катя зовут!»

Вечером маманя попыталась расспросить у меня, как мы вдвоем с отцом провели день «по-мужски», но я уперся и на все вопросы отвечал только, что все было «нормально».

Не мог же я рассказать мамане, как мы с Катей катались на аттракционах, и я пучился от гордости, когда она, визжа от страха, прижималась ко мне. Как мы сидели в кафе, я давал ей прикурить, неумело протягивая в ладонях спичку, и она брала мои ладони своими руками, тоже прикрывая слабый огонь, и мне казалось, что снаружи моим ладоням так же горячо, как и изнутри. Как я, млея от страха, рвал ей с клумбы какие-то осенние цветы и как она потом плела мне из них венки, а потом мы, держась за руки, с хохотом убегали от милиционеров и прятали этот венок под какой-то павильон, договариваясь когда-нибудь потом прийти за ним. Да у меня тогда и слов-то таких не было, чтобы рассказать мамане хоть что-нибудь из этого. Когда мы в пять часов вечера у ворот министерства дождались отца, он только глянул на меня и даже не стал ничего спрашивать – как мужик мужика он меня сразу понял.

Не добившись от меня ничего путного, маманя отправилась к отцу и закатила ему скандал, мол, ничего ему доверить нельзя, даже один выходной с сыном он как следует провести не может. Отец, с которым мы по пути домой сговорились, что будем упорно стоять на версии «Весь день вместе просидели в кабинете», только отмахивался: «Ну, раз парень сказал „нормально“, значит, нормально. Просто тебе этого не понять».

И правда.

Яблочное

У нас возле дома, еще примерно лет двадцать после постройки наших пятиэтажек, оставался огромный, огороженный забором яблоневый сад, действительно огромный, метров пятьсот на пятьсот. А может, и километр на километр. Внутри стояли какие-то дачные дома, и, может, круглый год, а возможно, только в летний сезон жили какие-то люди. Мы, пацаны, каждое лето лазили туда за яблоками.

Было, конечно, стремно туда забираться – слишком уж близко мы жили, так что, стоило попасться на глаза какому-нибудь живущему в саду деду или яблочной бабушке заметить кого-то из нас на заборе, они немедленно отправлялись по соседним дворам с расспросами: «А не у вас тут живет такой рыженький, в синей рубашке?» Наши дворовые бабки тут же немедленно сдавали виноватого, и ничего не подозревающий пацан вечером разбирался с родителями.

Я знаю, о чем я говорю, потому что меня вот точно так же сдали родителям – только не за яблоки, а за картошку. Как-то мы с ребятами нарыли молодой картошки в огородах, разбитых нашими соседями прямо за домом, нарыли мы этой картошки, напекли на костре и слопали. Тем же вечером хозяйка огорода пришла к нам с жалобами, и за какие-то дурацкие съеденные мною три крохотные картофелины отец заставил меня возвращать бабке два мешка отборных клуб-

ней с рынка. Снова попадаться на таком мне не хотелось, так что каждый раз, собираясь за забор, мы с пацанами, как придурки, чтобы запутать следы, старательно менялись рубашками, натягивали на нестриженные головы свернутые из газет пилотки, мазали лица сажей.

Вообще-то яблок на халяву еще можно было набрать на аллеях ВДНХ – но туда ж ехать надо, да и там, несмотря на милицию, слишком много было охотников: обтрясали бедные деревья задолго до настоящей спелости.

Еще один яблоневый сад был минутах в двадцати от нашего дома, у прудов на улице Софьи Ковалевской, но там орудовали местные пацаны, а с яблоками за пазухой быстро не побегаешь, так что ходить туда было опасно, легко можно было получить по шее. Короче, хоть так, хоть эдак, а нам все равно приходилось рисковать.

Чудно, конечно, что потом в школе, читая истории про Тимура и его команду, мы болели за Тимура и вполне искренне негодовали на банду Мишки Квакина – понятно, они ж были хулиганами, а мы-то были хорошими мальчиками, просто слишком сильно любили яблоки.

И вот мы, семи-восьмилетние пацаны, каждый вечер отправлялись в экспедицию. Долго собирались, договаривались, во сколько выйдем, потом гордой толпой маршировали мимо наших девчонок, прыгающих в классики, мимо сидящих вокруг качелей «больших мальчишек», которые тоже собирались в тот же сад, но гораздо позже, ночью, ко-

гда нам гулять уже не разрешали, и большие мальчишки, воображая уже перед своими большими девчонками, кричали нам вслед: «Вы смотрите, наши яблони не обтрясите! Если сегодня придем и увидим, что обобрали, как в прошлый раз, – по лбу получите!» И мы, довольные, что на нас обратили внимание, гордо отвечали: «Ладно, сегодня ваши трогать не будем!» – а потом уже на ходу гадали: а какие там «ихние»-то, и какой вообще «прошлый раз»? По лбу получить от своих совсем не хотелось.

Добравшись до забора, мы долго прислушивались, не гавкнет ли собака, отзываясь на пронесшийся где-то грузовик, не звякнет ли где-нибудь поблизости цепь. Стоило там, за забором, раздаться хоть какому-нибудь шуму, как мы с облегчением неслись обратно во двор, снова переодевались и умывались возле крана, торчащего из окна подвала, взахлеб рассказывали всем, кто не ходил с нами, про то, что «в саду сегодня спустили собак».

Но обычно шума никакого не было, и мы, подтащив доски, подсаживая и подтягивая друг друга, забирались на забор. Мне до сих пор кажется, что за забором всегда было намного темнее, чем снаружи. Мы подолгу сидели на заборе, балансировали на острых концах досок и делали вид, что прислушиваемся, а на самом деле все никак не решались спуститься в темноту. Наконец, перебросив внутрь пару досок для отхода, мы решались: подолгу, до последних сил в пальцах, зависали на руках, спрыгивали вниз, торопливо

пробирались к белеющим в темноте стволам и начинали их трясти – еле-еле, стараясь, чтобы не шумели листья. Но яблоки, созревшие и словно ждавшие именно нас, все равно падали с веток даже от самого слабого толчка, и мы испуганно сжимались от каждого «Пум! Пум!» – когда яблоко шлепалось в траву.

А потом, испуганно озираясь, шарили в траве, собирали упавшие яблоки, прислушивались, как где-то играет «Маяк», покрывались мурашками, то ли потому, что за пазухой по животу катались холодные яблоки, то ли потому, что радио вдруг слышалось чуть громче – может, это хозяйева дверь открыли, может, они уже крадутся к нам, сжимая в руках ружья? И мы на корточках, прижимая руками к животам драгоценные яблоки, старались подобраться поближе к забору, чтобы поскорее сбежать, «если что».

А потом, набрав столько, что рубашки под весом яблок начинали вываливаться из штанов, мы перебирались обратно за забор и уже по дороге во двор радостно кидались едва надкусанными, еще недавно такими драгоценными яблоками: «Кислятина!» А потом во дворе, гордо демонстрируя перепачканные белилами, поцарапанные руки, делились добычей с девчонками, которые, дожидаясь нас, все еще сидели возле расчерченных на асфальте классиков, хотя из-за темноты прыгать давно уже было нельзя. Девчонки принимали от нас яблоки и, даже если попадалось спелое, тоже жмурились от отвращения, едва надкусив: «Фу! Кислятина какая!»

А мы им рассказывали про то, как хозяева гонялись за нами по всему саду с ружьями и собаками. И договаривались друг с другом, во сколько завтра снова пойдем, чтобы хозяева успели уснуть и больше не гонялись за нами, как сегодня.

Но мне все-таки пришлось познакомиться с жителями этого сада – намного позже, лет через пять. У меня тогда жила белка, только это был самец, значит, наверное, надо говорить: «Жил белк». Звали его Малыш, в просторечии Малик, он вырос у нас дома с самого крошечного возраста и был совсем-совсем ручной. До тех пор, пока не сбежал как-то ранней осенью через открытую форточку.

Я ходил его искать по всему району, звал его до хрипоты, но он, обычно такой послушный, все никак не возвращался.

Наконец, наши соседские бабульки, переживая за меня, рассказали, что в яблочном саду завелась какая-то белка, а не мой ли это Малыш? Очень мне не хотелось отправляться к старинным врагам, но, пробравшись внутрь потихоньку, не покричишь! И вот, набравшись храбрости, впервые в жизни я отправился в сад как положено, через вход.

Я долго звонил возле белой калитки, пока мне наконец не отворил какой-то мужик. Он выслушал меня, подтвердил, что какая-то белка действительно завелась, и повел меня в глубь сада. Там я снова ходил мимо усыпанных яблоками деревьев, стараясь не наступить на валяющиеся повсюду плоды, и жалобно звал своего Малыша, а он опять не шел и не шел.

Тут к нам подошла какая-то бабулька с кружкой чая и вареньем. На самом деле, как я понял, эта неизвестная белка всех уже успела достать, разбрасывая выложенные на крышах для сушки яблоки, и хозяева готовы были сделать что угодно, чтобы я ее забрал поскорее.

Мы еще долго сидели за сколоченным из досок столом и пили чай. Точнее, это я пил, а бабулька на этом столе все резала, резала, резала в огромные чаны бесконечные яблоки, которые ей подтаскивал дедок. Белка, Малыш или какая-то другая, так и не появилась, сколько я ни кричал, и вот вечером я наконец отправился домой с двумя авоськами яблок, банкой варенья, рулоном домашней яблочной пастилы и ее рецептом.

Когда я принес все это домой, маманя, естественно, решила, что я все это своровал, как обычно перебравшись через забор, и только когда я поделился с ней рецептом пастилы, она поверила, что мне это добро дали сами хозяева.

Про то, как тесен мир

Школа, куда, беззастенчиво пользуясь служебным положением Важного Начальника, пристроил меня отец, была, честно сказать, ничего особенного. То есть, по-моему, не стоила она своей славы.

Во-первых, все детишки там прекрасно осознавали, что их родители «о-го-го», а учителя по сравнению с родителями – не «о-го-го»... А во-вторых, учителя знали, что надо продержаться в этом рассаднике знаний всего-навсего лет десять и потом уже можно будет уверенно паковать ранец, потому что из нашей школы учителей постоянно забирали во всякие посольские учебные заведения за рубежами нашей родины, что было и престижно, и денежно.

Потому неудивительно, что скрытая от методистов и родно школьная жизнь разительно отличалась от картинок из журнала «Пионер» или, скажем, газеты «Народное образование». Про такое я, может, тоже потом вспомню.

А пока – один случай, после которого я перестал удивляться сказкам про золотую рыбку, говорящую щуку в проруби или лампу, в которой поселился джинн.

Ну вот скажите мне, пожалуйста: живет мальчик Аладдин, начинается сказка, папа у него умер, мама вся больная... И тут этот мальчик находит лампу с джином. Где, блин, логика, терзался мой детский мозг. Почему из тысяч и

тысяч мальчиков сказка началась именно про этого дурацкого Аладдина? Ну что, для сказки про джинна мало вам других мальчиков, у которых, к примеру, и папа живой, и мама здоровая, и имя не такое дурацкое, а, скажем, нормальное, как у меня?

Или, например, что – мало стариков со старухами, у которых разбитое корыто? Откуда этот самый Пушкин знал, что писать надо именно про этого деда, что именно этот подкаблучник, лузер, поймает золотую рыбку... То есть Пушкину не надоедало наблюдать за обычным рыбаком тридцать лет и три года, заглядывать через плечо каждый раз и смотреть, что он там вытащил своим латаным-перелатаным неводом, селедку или сайру какую?

И тут в один прекрасный день замечает Александр Сергеевич – ага, ничего не вытащил невод... Остановился поэт, стал дожидаться. Второй раз ничего не вытащил невод, то есть ни старой калоши, ни банки консервной, ни даже рваных плавок. Это ж, однако, чудо! – понимает Пушкин. (Ну, кто был на Черном море, тот с поэтом охотно согласится.) И тут поэт пододвигает поближе перевернутое ведро, достает бумагу (первый лист на ведро, чтобы не попачкать панталонны), присаживается и готовится писать репортаж про то, как плохо быть жадиной. Такого сюжета не стыдно дожидаться тридцать лет и три года, согласен. То есть пока все понятно.

Но как Пушкин угадал оказаться именно в это время и именно в этом месте, да еще как раз с бумагой и ручкой,

чтобы все записать, – вот это мое детское воображение понимать отказывалось... (Это если он ручкой писал, светило наше. А если он секретарше диктовал, а та на машинке шлепала – это что, все долгие тридцать лет и три года, пока старик нащупывал пути к золотой сардинке, держал Пушкин на пляже в боевой готовности секретаршу с ундервудом?)

Не, ну, потом-то я понял, в чем фишка и как угораздило великого поэта оказаться именно в нужное время и в нужном месте – просто мир тесен.

А понял я это вот как.

Дурацкая школа или не дурацкая, но учиться я любил и делал это с удовольствием. Исключая математику, про нелюбовь к которой вас всех ждет отдельная история. Не было у меня дружбы с математичкой, а вовсе была вражда, такая, что я ей в кабинете и окошки бить по ночам ходил, и клею стул мазал так, что, придя как-то раз на работу в красном платье и усевшись на непроверенный стул, математичка потом смело могла отползть в соседний кабинет рисования и позировать там для натюрморта «Бутерброд с красной икрой, в котором хлеб на четырех ножках, но зато много-много масла»...

Нелюбовь моя после таких случаев стала взаимной и даже страстной, и математичка захотела познакомиться с моими родителями. Но папа-то витал слишком высоко, и училка стала приглашать в гости маманю. Сначала тактично – писала записочки, мол, будет ли вам удобно заглянуть... Но та-

кие записочки, налюбовавшись на красивый почерк, я сразу спускал в унитаз... Потом математичка стала писать приглашения в дневник – вот дура-то! У меня ж было два дневника – один специально для всякой ерунды, а другой – почетный, который я гордо предъявлял родителям (странно, кстати, что я после такого не вырос в какого-нибудь бухгалтера или даже банкира, но, может, оно и к лучшему).

Скучала математичка по моей мамане до родительского собрания, надеясь свести со мной счеты прилюдно, но и про собрание я, естественно, никому дома рассказывать не собирался. Тогда, как любая женщина с безответной тоской, математичка принялась названивать мне домой в самое хитрое время и требовать к трубке маман.

Тут мне стало понятно, что контакт рано или поздно случится, не мог же я постоянно дежурить у телефона, срывать трубку первым, чтобы соврать, например, часов в девять вечера, что никто из взрослых еще с работы не пришел. И я десятилетним умом решил пойти на обострение.

В один прекрасный вечер, когда после двадцатого нетерпеливого звонка за час маманя не выдержала и поинтересовалась, кто это там названивает, я сделал грустное лицо и с надрывом в голосе признался: есть у нас в классе одна девочка, наверное, хочет она от меня нехорошего, мам... В гости зовет, мол, давай купим по бутылочке пива, посидим, все такое... Тут я уронил слезу и повесил голову.

– Ага... – сказала мама. Потом подумала и еще раз ска-

зала: – Ага... – только не растерянно, как в первый раз, а угрожающе... Потом опять подумала и добавила: – Ла-а-адно... – как бы так ласково добавила, но я-то знал, что эта ласковость ох как обманчива! – Знаешь, сынок, – попросила меня вежливо маманя. – Когда она в следующий раз позвонит, ты мне-то трубочку дай, пожалуйста...

– Хорошо, – щедро согласился я. Типа вот такой я послушный сын. И поправил чубчик, причесанный на косой пробор.

Следующий звонок не заставил себя долго ждать. Минуты три, прямо скажем, – это ж недолго, правда?

– Алё, – пропел я в телефон...

– Ну что, не пришла мама? – раздался в трубке уже до боли знакомый голос математички, в котором сложными вибрато переплетались надежда и обреченность...

– Секундочку. – Я замахал руками призывно, мол: «Она, мам, она!»

Мама подошла, на ходу набирая воздух в легкие, вырвала у меня трубку и сказала такие слова:

– Послушай ты, шлюха мелкая! Если ты еще будешь приставать к моему сыну, я приду в школу, найду тебя, задеру юбку и отделаю так, что ты ссать и срать кровью будешь неделю. Поняла, проститутка? – И маманя, гордая выполненным родительским долгом, повесила трубку.

Честно признаюсь – такого я не ожидал... Не ожидала, наверное, и математичка. Но тренированным логическим

умом она, скорее всего, сделала выводы. Потому что звонки прекратились, приглашения писать она тоже перестала. Даже вызывать меня к доске прекратила, что устраивало меня очень и очень. Жизнь стала нравиться мне гораздо больше!

Но любое счастье недолговечно – это знает каждый философ, предстояло узнать это и мне.

Мама моя, несмотря на сказанные слова, была не маляром каким или, вы не подумайте плохого, продавщицей овощного отдела в универсаме. Она трудилась главным инженером ОКСа на секретном заводе недалеко от Москвы, строила ракеты с разделяющейся боеголовкой. Общаясь по роду работы с армейскими мужчинами, мама знала много разных слов, но не употребляла их, а как раз наоборот – делала бровью так, что люди в лампах давились и хрустели костяшками пальцев, мучительно переводя короткие рубленные военные фразы на трудный для них штатский язык.

Время от времени какой-то винтик все-таки срывался, в совершенно невинной профессиональной беседе про какую-нибудь «зону покрытия» или «точку проникновения» проскальзывали родные военные термины типа «ка-а-ак жажнет» или «хрен кто спрячется», и тогда суровые генералы краснели как дети и наперебой подлизывались к маме, даривая ее цветами, шампанским и коробками с шоколадными конфетами из закрытых военных распределителей. (Честно говоря, ящику армейской тушенки из этих самых распределителей мама пораздовалась бы гораздо больше,

да только разве генералы понимают толк в том, чего женщина хочет, чурбаны неотесанные.)

И вот как-то раз случился очень жаркий спор, в котором военная и штатская стороны махали руками, швыряли бумаги об стол и кричали до хрипа друг на друга: «Сволочи!», «Уроды!», «Руки из жопы» и что-то еще непонятное, потому что по-армянски.

Для документальности повествования я покопался в пожелтевших подшивках тогдашних газет под названиями «Правда», «Красная звезда» и «Военный вестник».

Искал информацию, способную пролить свет на причины – почему в тот далекий год суровые генералы бросались друг на друга с кулаками. То есть скромную заметку какого-нибудь спецкора Голубина из Стерлитамака: «Ракета не взлетела – кто виноват?» или неброское сообщение ТАСС: «Ничего себе, это ж Аризона! – успел подумать сержант Иванов». Ну, в общем, чего-то такого. Но таких заметок я не нашел. Попадались, конечно, тревожные новости – что скрывать, бывали трудности в нашей стране. Например, по халатности кладовщика Федорова Н.С. в межрайонном учколлекторе номер четыре Ярославской области из прорвавшейся трубы кипятком залило сто семьдесят три учебника русского языка для пятого класса средней школы. Или вот – работники Учонского автосервиса Припятского района Белорусской ССР по ночам сливали отработанное масло в канализацию, загрязняя тем самым живописные берега реки Псел.

Да, похоже, именно из-за чего-то такого случился тогда у мамани на ракетном заводе большой скандал, во время которого и было сказано несколько необдуманных слов и нанесены всем присутствующим кое-какие обиды. Когда разобрались, кто виноват (я так понимаю, кладовщик Федоров Н.С. за свою халатность был расстрелян, не меньше!), генералы ринулись снова подлизываться к моей мамане, но тут уже шампанским и конфетами, судя по всему, отделаться им было не судьба... Судя по смурному лицу моей мамани, защитники родины должны были для замирения пригнать к нам под окна не меньше чем танк Т-80, обвязанный розовой ленточкой по самые башенные люки и с букетом пармских фиалок, трогательно вставленным в дуло.

Генералы долго ходили по зданию Генштаба с грустной слезой на глазу, потому что танки им были и самим нужны, хотя ради такого дела, а-а-а, блин, фиг с ним, с танком, танк найдем, но где ж фиалки достать – не посылать же за ними корпус маршала Огаркова в Париж, это ж до самого Нового года не обернемся! Что делать будем, мужики?!

И тут вышел вперед один молодой генерал и гордо сказал: «Я знаю, братцы!» И все бросились к нему: «Спаситель! Выручай, Василий Иванович, мы ж тебе тогда по гроб жизни!!!» Молодой красавец генерал стукнулся о паркетный пол, оборотился соколом и вылетел в окошко. Долго ли, коротко ли он белым соколом по небу летал да серым волком по лесу рыскал, то мне неведомо, но вот ранним солнечным утром

влетел он снова в форточку кабинета номер 317 здания Генерального штаба, где все это время горевали и тужили его соратники, снова стукнулся о паркетный пол, обратился обратно в генерала и достал из кармана билеты в Большой театр на оперу «Князь Игорь» композитора Бородина.

Грянули салюты по бескрайней матушке-Руси, расправили плечи офицеры, чокнулись в солдатских столовых кефиром рядовые и старшины, потому что, фиг ли думать, тут и дураку понятно, что супротив такенного подарка не устоит никакая женщина и снова наступит единение боевой Советской армии и беззаветных тружеников тыла.

В театр мы входили через кордон придирчиво разглядывающих праздную толпу билетерш. Маманя загодя (по правде сказать, еще метров за двести до знаменитых колонн) достала билеты и, пробившись сквозь толпу у входа, гордо передала их ближайшей старушке.

Пока та придирчиво проверяла билеты, я почувствовал на себе цепкий взгляд второй билетерши и сообразил, что от меня тоже требуют доказать свое право пройти внутрь храма Мельпомены. Поэтому я достал из карманов руки и повертел ими под свисавшими на кончике длинного носа очками: ногти стрижены, чернильные пятна отмыты. Старушка удовлетворенно кивнула. Я расстегнул пальто, размотал шарф и продемонстрировал билетерше вымытую шею, потом открыл рот, старательно высунул язык и сказал громкое «А-а-а...».

Та старушка, которая уже вернула мамане наши билеты, удивленно посмотрела на свою напарницу и перевела взгляд на мой язык; скопившаяся сзади толпа тоже разглядывала меня с любопытством. Воодушевленный всеобщим вниманием, я сбросил пальто на пол и начал расстегивать брюки, чтобы предъявить всем ради такого случая чистые трусы без дырок. Но тут маманя убрала билеты в карман, подхватила с пола мои пальто и шарф и отвесила мне пинка – так мы вошли в Большой театр.

Раз уж все равно был раздет, я не стал ломиться в гардероб, вытащил из мамино го ридикуля двадцатикратный полевой бинокль, ради такого случая выпрошенный у соседа-охотника, и бросился вверх по лестнице, чтобы как следует все вокруг рассмотреть. Потеряться в толпе я не боялся: как заклинание в моем мозгу вертелись заветные слова: «Бельэтаж, шестой ряд, места 22, 23... Бельэтаж, шестой ряд, места 22, 23».

Подниматься по лестнице, глядя в бинокль наоборот, было прикольно, ступеньки были далеко-далеко, мои ноги в ярко начищенных ботинках где-то там топали по красному ковру, старательно обходя разные другие крохотные ножки, колонны и столбы.

На всякий случай я не стал уходить далеко, добрался до двери, рядом с которой была табличка «Бельэтаж», пристроился там к перилам и начал рассматривать стены и потолки. Особой красоты я не заметил, но бинокль меня порадовал, и

я смотрел в него попеременно с одной и с другой стороны, то словно взлетая под самый потолок, то как бы проваливаясь в глубокую шахту. Когда раздался второй звонок и народ потянулся в зал, меня нашла маманя и сказала: «Пошли, мол, на места».

– Иди, мам, я сейчас приду, бельэтаж, шестой ряд, места 22, 23, я помню, – отмахнулся я. – Тут такая архитектура, – добавил я для солидности, и маманя отстала.

Я разглядывал потолки еще несколько минут, пока не раздался третий звонок, и я снова почувствовал, как маманя тянет меня за рукав.

– Ну сказал же, сейчас, – проныл я и отмахнулся, но маманя рукав не отпускала, и я нехотя оглянулся – передо мной оказалась очередная билетерша. Ой.

– Где твой билет, мальчик?

Я как раз смотрел наоборот, поэтому старушка привиделась мне совсем мелкой. Но даже мелкая она оказалась официально сильной – сунув свои программки под мышку, она ухватила за мою оптику двумя руками с такой силой, что я даже присел, но удержать бинокль не смог.

Ого! Ну не такая уж мелкая оказалась старушка, пожалуй, даже крупная... Точнее – огромная. Она смотрела на меня сверху вниз, но как-то так, не наклоняясь, а, скорее, перевешивая голову через свой бюст, такой огромный, что кружевное жабо, казалось, лежало на нем горизонтально.

Конечно же это я сейчас знаю такие слова, как «бюст» и

«жабо». А тогда я просто растерялся при виде такой царь-билетерши, да что уж там, столько лет спустя можно признаться откровенно, струхнул я тогда крепко. «Бяше ли лепо, тьфу, лепо ли бяшете...» – только это у меня и получилось промямлить.

– Билет, мальчик? – Билетерша вытянула шею еще больше и стала совсем похожа на курицу, с любопытством рассматривающую найденного червяка и выбирающую место, куда его тюкнуть клювом.

Я мучительно пытался вспомнить вызубренные слова, но кроме дурацкого «бяшете» в голове ничего не было. В отчаянии я начал прикидывать, куда сбежать, но царь-старуха цепко держала меня за бинокль – у такой не вырвешься. Однако, оглянувшись по сторонам, я, к счастью, заметил ту самую заветную табличку на стене возле двери, и меня прорвало.

– У мамы билет, в бельэтаже! – радостно заорал я, для убедительности мотнув головой на указатель.

– Так-так... – Билетерша покачала головой, поставила меня перед собой, ухватила меня стальной рукой за плечо и ввела в зал.

– Бельэтаж, шестой ряд, места 22, 23, – пытаюсь вырваться, сквозь слезы шептал я пароль, но старуха крепко держала меня за плечо, и до нее было уже не докричаться.

Когда мы дошли до середины прохода, огромная люстра под потолком уже начала меркнуть, из оркестровой ямы раз-

давались мяукающие звуки настраиваемых инструментов, похоже, этот звук вызвал какие-то трепетные воспоминания у моей билетерши, наверняка бывшей оперной певицы, и поэтому она пропела «Чей мальчик?» так, что ее услышал весь зал, от партера до галерки.

Я просто вижу эту картину – как в бинокль. Зрители почти все уже расселись по своим местам и теперь переговаривались, шелестя программками, однако при звуках царственного сопрано все уселись, замолчали и уставились на проход бельэтажа. Партер как один обернулся назад. Оркестр вытянул шеи из своей ямы. Балконы и галерка склонились через балюстрады. Бельэтаж сделал пол-оборота налево или направо, смотря кому как повезло усесться в тот исторический день. Люстра почти погасла, и осветители направили на меня горячие лучи своих прожекторов, а я даже не мог поднять руку для того, чтобы заслониться от их слепящего света.

– Чей ма-а-альчик? – Теперь оглушительное сопрано раздалось над моим ухом в полной тишине, и я смог лично убедиться в том, что акустика в Большом театре просто великолепная.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.